

18+

Вера Капьянидзе

Случайные встречи



Вера Капьянидзе
Случайные встречи

«Издательские решения»

Капьянидзе В.

Случайные встречи / В. Капьянидзе — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-986454-3

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Очень нужный именно в наше время сборник о настоящем: настоящих человеческих ценностях, настоящей борьбе, в первую очередь с собой, настоящих чувствах, настоящей вере и настоящей — душевной — красоте. Сборник включает в себя две части: «На войне как на войне» (состоит из 6 историй, разворачивающихся во время Великой Отечественной войны) и «Случайные встречи» (содержит 14 рассказов, большинство из которых представляют собой красочные зарисовки из прошлого).

ISBN 978-5-44-986454-3

© Капьянидзе В.
© Издательские решения

Содержание

I. НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ	6
ВОСКРЕСЕНИЕ	6
ПЛАТОЧЕК	17
ЧАСЫ	23
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Случайные встречи

Вера Капьянидзе

© Вера Капьянидзе, 2024

ISBN 978-5-4498-6454-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

І. НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ

К военному госпиталю Марта с отцом прибились два года назад. Родом же сами были из Энгельса – бывшей столицы автономной республики поволжских немцев. Получилось так, что в феврале 41-го два младших брата Петра, прослышав, что немцев, как неблагонадежных, будут переселять в Казахстан или в Сибирь, не дожидаясь депортации, уехали сами в Орджоникидзе (сейчас г. Владикавказ). Им было проще. Один был еще не женатый, а второй, хоть и женат, но детей по какой-то причине не было. Старшему – Петру ехать было не с руки. Трое детей мал-мала меньше. Старшей Марте только исполнилось 10, а младшенькому Иоганну еще и трех не было. Да родителей престарелых и хозяйство не на кого было оставить, а поручить все одним махом рука не поднималась. Еще была причина, наверное, самая главная по которой Петр не мог сорваться вместе с братьями. Он был глухонемой. Хоть и работающий был мужик: и дом на окраине Энгельса содержал в исправности, и хозяйство небольшое: куры, козочка, да барашек, а вот специальности из-за своего порока так никакой и не получил. Работал истопником при школе. Потому и решили, что для начала поедут младшие братья. У них как-никак и специальности есть: оба закончили школу ФЗУ¹: один токарь, другой каменщик – всегда работу найдут. Приглянутся, может, и для Петра какую-нибудь работу подыщут. Много уже в те края к тому времени уехало и родни и просто знакомых.

А в мае братья письмо прислали, чтобы собирал Петр семью и родителей и перебирались в Орджоникидзе. Писали, что оба уже работают, что край здесь богатый и сытый. Фруктов разных много, а хлеб все едят только белый. И люди хорошие, приветливые. Но и тут не поверил Петр, решил для начала своими глазами посмотреть на этой рай. «Не может такого быть, чтобы в одной стране одни голодают, а другие живут и горя не знают», – объяснял он жене. А чтобы ему в дороге было сподручнее, взял с собой Марту – вместо переводчика.

Война застала их в Орджоникидзе. Тут уж было не о переезде думать, а как бы назад, домой добраться. Братья поначалу отговаривали Петра. Дескать, может это все не надолго, закончится война, тогда и поедете, но Петра было не отговорить. Да и как отговаривать, когда там остались жена с детьми, да престарелые родители. И отправился Петр с Мартой в обратную дорогу.

Но добраться с остановками и пересадками смогли только до Сталинграда. Дальше было не проехать. На фронт нескончаемым потоком шли и шли военные эшелоны, а в обратную сторону – составы с эвакуированными заводами. При таком графике пробиться на гражданский состав не было никакой возможности. Так и застряли в Сталинграде.

Пока ехали, да толклись на вокзалах, пытаясь сесть хоть на какой поезд в сторону Энгельса, поиздержались до нитки. Пришлось идти подрабатывать по окрестным деревням: кому дров наколоть, кому забор подправить, кому сарайчик слепить... Но людям было уже не до хозяйства – война диктовала свои условия выживания.

Ох, и хлебнули лиха Петр с Мартой! Дошли до того, что побирались «за Христа ради», чтобы выжить, а для ночлега обжили уголок в подвале дома недалеко от вокзала. В сентябре до Петра дошли слухи, что немецкую автономную республику ликвидировали, а немцев переселяют. Совсем у него опустились руки. Не знал, что и делать. Домой ехать – непонятно к чему приедешь. Может, там уже и нет никого. И здесь оставаться небезопасно: до первого пат-

¹ Школа ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества.

руля. Проверят документы, и загребут, как уклониста, или диверсанта. Так и ходил побираться с оглядкой, и от всех военных шарахался, как черт от ладана. И только в ноябре, когда Марта заболела, и уже не выходила из подвала, кашляла не переставая, Петр решился. Повел он Марту в ближайший от вокзала госпиталь. «Если и арестуют меня, то, может, Марту при госпитале оставят, вылечат. А нет, так хоть в детдом пристроют, все с голоду не помрет», – рассудил он.

На его счастье главврач оказался человеком добрым – не стал сдавать их в НКВД. А ведь в те суровые времена, да еще по законам военного времени и ему самому за такое могли запросто пришить статью за пособничество врагам народа, или шпионаж в пользу воюющего государства, или чего доброго – организацию групповой диверсии. Не побоялся, пожалел измученных лихолетьем людей. Только фамилию им сменил, чтобы, как положено, поставить на довольствие. И стали они вместо Губеров – Безродными. Петра оформили санитаром, и комнату при котельной выделили для жилья. Марту, конечно, по малолетству, оформить и поставить на довольствие нельзя было, но голодными теперь не сидели. Мужских рук в госпитале не хватало, и очень скоро Петр Иванович стал в госпитале незаменимым человеком. И сантехнику починить, и по плотницкому делу, и проводку наладить. За все брался, не гнушался никакой работой. За то сердобольные женщины и совали ему «для Марточки» кто кусок хлеба, кто сахарок, а кто и банку тушенки. Да Марта и сама не сидела без дела. Помогала отцу, медсестрам, да еще на кухне, и в прачечной успевала. Да мало ли было работы в военном госпитале! Одних только-только подлечили, да на ноги поставили, а на их место уже втрое больше поступило. Война, как огромная мясорубка без устали молола и молола человеческие тела и судьбы.

– Маша! Маша! – в сестринскую, громыхая ботинками не по размеру, ворвалась тщедушная девчонка лет тринадцати в таком же – не по размеру белом халате, подпоясанном бельевой веревкой. Война не была рассчитана на детей. Ее белобрысые волосенки, заплетенные в две жиденькие косички, в которые вместо бантов были вплетены бинты, делали ее похожей на мышку. Лицо, густо усыпанное веснушками, было залито слезами.

– Да тише ты, скаженная! – шикнула на нее пожилая санитарка Зоя Петровна, сматывающая за столом стиранные бинты. – Дай человеку поспать. И так всю ночь просидела над своим Васильком. Под утро только и прилегла, а ты тут грохочешь... Что стряслось-то?

Марта смутилась и, хлюпая носом, зашептала на ухо Зое Петровне:

– Там... Это... Капитана Машиного в мертвецкую понесли.

Зоя Петровна замахала на девчонку руками:

– Да что ты, милая! Спутала, наверное, с кем-то. Маша вон под утро пришла, говорит, что полегчало ему, температура, вроде как спала, никак на поправку пошел.

– Ничего я не спутала, – обиженно шмыгнула носом Марта, – что же я Машиного капитана не узнала бы? Он это, из девятой палаты.

– Ах, горе-то какое! – запричитала вполголоса Зоя Петровна, – значит все-таки преставился.

Из-за брезентовой занавески, отгораживающей кровать, где отдыхали медсестры, если выдавалась свободная минутка, слышалось:

– Ну что вы там шепчетесь? Все равно уж разбудили. Что случилось-то? В операционную, что ли вызывают?

Зоя Петровна переглянулись с Мартой, не зная, как сообщить Маше страшную новость.

В декабре сорок второго в госпиталь прибыла очередная партия раненых. Василия Наумова, капитана с осколочным ранением в ногу, Маша сразу выделила из всех. С первого взгляда ей приглянулся смуглолицый капитан с зелеными озорными глазами. В них так и носились бесенята, зажигая сумасшедшинки и смешинки. Им подстать, он и сам был такой же весельчак и балагур, несмотря на тяжелое ранение. Даже седая прядь в иссиня-черных буйных кудрях

не делала его серьезней. Он никогда не жаловался, не капризничал, шутил по любому поводу. И только искусанные в кровь губы, да побелевшие костяшки пальцев, сжатые в кулаки показывали, как тяжело ему давалась тяга к жизни.

– Да это я просто перед тобой хорохорился, – признался он позже Маше. – А то здесь вон сколько женихов! Надо было чем-то соперников отбить от тебя. Ничего, вот подлечусь и украду тебя из госпиталя. Мне бы только до весны дожить.

– А что будет весной?

– Весной? Я загадал. Если доживу до весны, значит, встану на ноги. А танцевать на свадьбе можно и на протезе, правда?

– И на чьей это свадьбе вы собрались танцевать, товарищ капитан?

– Как на чьей? На нашей!

А положение у капитана было совсем нешуточное. С самого первого дня встал вопрос об ампутации, но Иван Семенович – старый и опытный хирург пожалел молодого капитана, и решил все же оставить ему ногу.

Осенью сорок первого года Маша должна была пойти учиться на третий курс Медицинского института, а вместо этого, она, как и все ее сокурсники, написала заявление в военкомат. Так она и попала в госпиталь. Медперсонала не хватало, и очень скоро Маша уже ассистировала Ивану Семеновичу на операциях. Она-то и упростила его не ампутировать ногу, обещая что сама будет следить за лечением. И действительно, она каждую свободную минуту бегала к своему «Васильку», как шутливо прозвали его медсестры. Сама делала уколы, проверяла пил ли он таблетки, измеряла температуру, вывозила на коляске на прогулки. Вот тогда-то между ними и проскочила искра, которую уже ничем невозможно было затушить. Эта искра счастья загоралась в Машиных глазах, при взгляде на Василия. Эта искра зажигала румянцем ее щеки от нечаянных прикосновений его рук, губ...

– Ты девонька, не забивала бы себе голову этой любовью, – наставляла ее чуть не каждый день Зоя Петровна, взявшая над ней негласное шефство, – вот кончится война, тогда и будете любиться. А с этим-то что? Вылечится, да и поминай, как звали. Только сердце себе надорвешь.

Лечение шло тяжело, и, в конце концов, Иван Семенович все же принял решение ампутировать ногу. Но было поздно. После ампутации у Василия началась гангрена...

– Это я, я, я его убила! – билась в истерике Маша.

– Ты что такое несешь, девонька? – безуспешно пыталась успокоить ее Зоя Петровна. – Тут каждый день столько помирает, если за каждого на себя вину брать, так уж лучше и не жить.

– Это я уговорила Ивана Семеновича, чтобы ему ногу не ампутировали. О себе тогда думала, не о нем...

– Так, нам самим не справиться, беги за врачом, – скомандовала Зоя Петровна плачущей Марте, забившейся в уголке.

– За каким? – растерянно всхлипнула Марта.

– Да беги уже! – прикрикнула на нее Зоя Петровна. – Какого найдешь.

Пришел Иван Семенович.

После укола, Маша затихла.

– Сейчас пусть поспит, а как проснется, проводите ее кто-нибудь домой. Дома и стены лечат. Увольнение ей даю на сутки. Пусть придет в себя.

И уже в дверях добавил:

– Твоей вины нет, девочка. Это я, старый дурак, должен был предусмотреть все варианты.

Домой Маша не попала. Несмотря на раскаты неутихающих боев, которые с каждым днем становились все слышнее, за окном госпиталя бушевала весна, задыхаясь от запаха цветущих

садов и сирени. А у Маши в груди, там, где билось ее истерзанное сердце, рос и рос холодный бездушный сугроб, знобя ее безвольное тело и леденя душу.

– Это нервный срыв, – беспомощно разводил руками Иван Семенович, приходивший навестить ее. – Ничего не сделаешь, надо ждать...

И вдруг откуда-то повеяло таким родным и знакомым с детства теплом.

– Мапочка, – выбираясь из двухдневного беспомыслия и бреда, прошептала Маша, – это сон?

– Нет, девочка, – приглаживая Маше растрепавшиеся волосы, вздохнула мама, – Завод наш срочно эвакуируют. Вот меня и отпустили на четыре часа вещи собрать. Да вот к тебе еще забежала проститься.

– А папа?

– Да куда же ему? На нем цех.

Маша прижала к щеке мамину руку и заплакала:

– Что же я натворила!..

– Я все знаю. Не мучай себя, доченька, видно, чему быть, того не миновать. Ничего, мы все пересилим. Надо держаться и жить.

Мама смахнула слезы:

– Ну, поплакали, а теперь давай-ка я тебя причешу, а то залежалась ты что-то.

Мама помогла Маше сесть, вынула гребешок из своих волос, и принялась расчесывать дочку, приговаривая, как в детстве, когда Маша капризничала:

– Расчешу, причешу, все Машины беды вычешу.

Потом заплела ей тугую косу и подергала за кончик:

– Расти коса до пояса, не вырони ни волоса!

Маша невольно улыбнулась:

– Мам, ты со мной, как с маленькой.

– Ты и есть для меня маленькая. А теперь – умываться.

Мама подвела ослабевшую Машу к рукомойнику и сама умыла:

– Куда вода, туда и беда!

Они проговорили почти час, когда мама, взглянув на ходики в сестринской комнате, тяжело вздохнула:

– Ну, мне пора.

– Мама, а куда вас эвакуируют?

– Пока не знаем. Говорят, что куда-то на Урал. Как прибудем на место, я тебе сразу напишу.

Через день Маша отпросилась у Ивана Семеновича, чтобы съездить на могилку к Василию. Она прихватила с собой Марту, которая одна и была на его похоронах. Зоя Петровна специально послала ее с похоронной бригадой, чтобы потом показать место Маше.

Ранним воскресным утром, едва рассвело, они доехали до окраины города на трамвае, а потом еще километра два шли степью. Просыпающийся майский день обещал быть полетному теплым. Марта, как молодой жеребенок радовалась свободе, теплу, солнцу, бегая по не успевшей еще засохнуть от знойных степных ветров траве, смешно взбрыкивая ногами. Она успела даже повалиться на ней, собирая божьих коровок, пока Маша рвала полевые цветы, отдыхая душой от крови, человеческой боли и страданий.

Место, отведенное под воинские захоронения, уже далеко расплзлось по степи, обрасстая каждый день, как ежик иголками, строгими металлическими пирамидками с остроконечными звездами на верхушках. И если бы не небольшой срок, то вряд ли Марта смогла бы так быстро отыскать могилу. После него уже два ряда новых захоронений темнели свежеподнятой, не успевшей обветрить землей.

На кладбище было так тихо и покойно, что, казалось, они попали совсем в другой мир, где нет ни войны, ни бомбежек, ни усталости, валящей с ног. И только майские жуки, изредка бьющиеся о металлические пирамидки памятников, нарушали эту благостную воскресную тишину.

Маша положила цветы на могилку, присела на холмик, и с полчаса недвижимо сидела, уставясь на пирамидку. И только шевелившиеся губы могли сказать о том, что она о чем-то своем беседует с Василием...

Когда уже шли обратно, Марта, уставшая от молчания, вдруг спросила:

– Маш, а почему его раздетым хоронили? Это так положено? Вот мы, когда бабушку старенькую хоронили, наоборот ее...

– Как раздетым? Ты чего сочиняешь? – даже остановилась Маша.

– Ничего я не сочиняю! – обиделась Марта. – В одном исподнем его хоронили.

И пояснила:

– В кальсонах и в рубашке нательной!

– И больше ничего? И сапог не было? – не могла поверить Маша. – Так только пленных хоронят.

– Да ничего на нем не было, говорю же тебе! – не на шутку рассердилась Марта. – Я же не слепая! – уже кричала она, пытаясь доказать свою правоту.

По госпиталю как-то ходили слухи, что вроде кто-то когда-то видел, как завхоз Михей Игнатьевич на рынке продавал воинскую форму. Но в это особо никто не поверил, потому что не пойман – не вор. А, кроме того, ему просто негде было ее взять. В связи с военным положением, вся форма была на строгом учете. Старая, в которой прибывали раненные, сдавалась по описи, и новая, которую завхоз получал через военкомат для личного состава, для выписываемых на фронт, и даже на погребение, тоже выдавалась строго по спискам, подписанном главврачом госпиталя. А сомневаться в его честности не было оснований. Андрей Николаевич Подольский был из «бывших», оставшихся служить Родине, и слишком дорожил своим честным именем. Да и под расстрельную статью запросто можно было загреметь за такие махинации. Уже вовсю орудовал СМЕРШ (отряды особого назначения – Смерть шпионам), вылавливая диверсантов и шпионов, рыскающих по фронтам.

Маша всю дорогу молчала, о чем-то сосредоточенно думая, а когда приехали на железнодорожный вокзал, от которого рукой подать до госпиталя, она попыталась отправить Марту:

– Иди в госпиталь, а мне еще в одно место нужно сходить.

Но Марта заупрямилась:

– Я не пойду одна, города не знаю, заблужусь, – упрямо бубнила она, помня наказ Зои Петровны «приглядывать за Машей по слабости ее здоровья».

– Ну ладно, пошли, – наконец уступила ей Маша.

Они зашли в здание вокзала. Маша о чем-то спросила постового. Тот, удивленно вытаращив глаза, долго и подробно что-то ей объяснял, энергично жестикулируя руками. Потом они опять долго ехали на трамвае, но уже совсем в другую сторону, потому что сквозь дома, мимо которых проезжал трамвай, видна была Волга. Потом еще шли по незнакомым пыльным улицам. Марта уже устала, когда они, наконец, остановились у здания, очень похожего на школу в Энгельсе, в которой до войны училась Марта.

– Жди меня здесь, – строго наказала ей Маша. – Никуда не уходи, а то потеряешься.

И, поднявшись по ступенькам, скрылась за дверью.

Марта немного постояла, но усталость взяла свое, и она присела на ступеньку, прислонившись к прутьям лестничных перил. Чтобы хоть чем-то занять себя, она принялась считать, сколько человек вошло и сколько вышло, и сама не заметила, как задремала. Разбудил ее чей-то сердитый окрик:

– Это еще что такое?!

Над Мартой стоял высокий худой человек в военной форме. Кто он по званию, Марта не поняла, потому что не разбиралась, но лицо его, с хмуро сведенными бровями, тонкими губами и красными от бессонницы белками глаз так напугало ее, что она тут же решила, что это не иначе какой-то большой начальник.

– Это со мной. – Выдвинулась из-за спины «начальника» Маша. – Сестра моя. Дома оставить не с кем, вот она мне в госпитале и помогает.

– Сестра? – подозрительно прищурился «начальник». – Только ее нам тут не хватало. Ну ладно, давайте обе в машину.

На обочине дороги их уже ждал грузовик, в кузове которого сидели четыре солдата с автоматами.

«Начальник» сел в кабину, а Маша с Мартой залезли в кузов и устроились на скамейке напротив солдат.

– Маш, а этот дядька – кто такой? – шепотом спросила Марта, на что сразу же последовал окрик одного из солдат:

– Не шептаться!

Так и ехали всю дорогу молча. Сначала Марта не понимала, куда они едут, но после железнодорожного вокзала, догадалась, что везут их в сторону госпиталя. От этого ей стало немного спокойнее.

Не доезжая до госпиталя, грузовик остановился. Из кабины вышел «начальник», и, обращаясь к Маше, приказал:

– Из машины ни шагу! – И взяв с собой двух автоматчиков, ушел в сторону госпиталя.

Через полчаса они вернулись, ведя с собой завхоза Михея Игнатьевича. Завхоз тоже залез в кузов, его усадили между автоматчиками. И опять поехали. Ехали все также молча. Марта, и без того перепуганная «начальником», ничего не понимала, что происходит, и от этого ей было еще страшнее.

Машина остановилась у самой окраины ничем не огороженного кладбища.

– Все из машины! – скомандовал «начальник». – Да поживее! Лопаты не забудьте!

– Ну, показывай дорогу. – Кивнул он Маше, когда все вылезли.

И все двинулись за Машей и Мартой, петляя между могил и невольно выстроившись в цепочку. Теперь уже Марта догадалась, что они зачем-то опять идут к могиле Василия. Но от этого ей не стало легче. Страх холодными цепкими лапами сковал все тело, которое сотрясалось, как от стужи, несмотря на то, что утреннее солнце уже палило всюю. Похоже, что с Машей творилось то же самое. Они обе боялись даже оглянуться на своих попутчиков, настороженно прислушиваясь к шагам позади себя.

– Вот! – Маша указала на могилку, на которой сиротливо лежали привядшие цветы.

– Ну, смотри, – угрожающе сощурив злые серо-голубые, почти бесцветные глаза с наливыми кровью белками, проговорил «начальник». – Если не подтвердится – расстреляю на месте.

– За что? – выдохнула Маша.

– За донос. Оговор безвинного человека.

Михей Игнатьевич, словно догадавшись о чем-то, беспрестанно облизывал пересохшие губы, оглядываясь на своих конвоиров.

– Попить бы, – жалобно попросил он.

– Потерпишь.

– Копайте, – приказал «начальник», и двое солдат взяли за принесенные с собой лопаты. Земля была рыхлая, еще не успевшая осесть и обветриться. Потому работа шла споро.

Когда головы копавших солдат почти скрылись в яме, «начальник», нервно куривший, бросил папиросу и подошел к яме.

– Ну, что тут?

– Все верно, – не вынимая трупа, подтвердили солдаты, – в одном исподнем.

– Хорошо, закапывайте, – скомандовал им «начальник».

– Как закапывайте? А одеть его, как полагается? – онемевшими губами едва слышно прошептала Маша.

– Во что же я тебе его одену? Кто мне второй раз выдаст форму? – Идите, хоть землички ему в могилу бросьте, – неожиданно смягчился он.

Маша, побелевшая, как снег, на негнущихся ногах, подошла к могиле, нагнулась, чтобы взять горсть, и вдруг упала на кучу откопанной земли и зарыдала. Марта подскочила к ней, принялась, как могла утешать.

– Любила, что ли? – сочувственно спросил «начальник», обращаясь непонятно к кому.

– Да, – ответила за Машу Марта.

– Бывает, – вздохнул «начальник» и полез за очередной папиросой. – Ну, пусть поплачет.

Неожиданно Михай Игнатьевич, стоявший между двумя автоматчиками, упал на колени и подполз к «начальнику», хватая его за сапоги:

– Товарищ майор, пощадите, Христа ради! Дети малые дома от голода пухнут. Не виноват я...

«Начальник» брезгливо оттолкнул его сапогом и зло прошипел:

– Не товарищ я тебе, гнида! Люди жизнью своих не щадят, а ты на их смертях наживаешься! Говори, гад, кому форму продавал?

– Не знаю, – трясась дородным телом, бился головой о землю Михай Игнатьевич.

– Говори, не то на месте пристрелю! – вытащил пистолет из кобуры «начальник».

– Не знаю я кто такие. Они меня сами нашли, сказали, чтобы форму принес, иначе убьют.

А потом уже сами ко мне на барахолке подходили, и заказывали, что им надо. Грозили, что если не принесу – убьют...

– На какой барахолке?

– За театром, что на Скорбященской площади...

– Эти тоже из вашего госпиталя? – кивнул на соседние могилки «начальник».

– Тоже, – не поднимая глаз, подтвердил Михай Игнатьевич.

– И сколько же ты комплектов продал им, иуда?

– Не помню, – еле слышно прошептал завхоз...

Маша, встала, вытерла слезы, подняла букет, предусмотрительно убранный солдатами в сторону, кинула его в могилу:

– Прости, Вася, это все что я смогла сделать для тебя.

«Начальник» позвал ее, вытащил из планшета, висевшего на боку какую-то бумагу, карандаш, что-то написал, слюнявя его:

– Как фамилия?

– Матвеева Мария Николаевна, а зачем?

– Для протокола. Распишись вот тут. А этого как фамилия?

Еще что-то записав и спрятав бумагу в планшет, «начальник» ткнул Михея Игнатьевича:

– Хватит уже тут ползать, вставай!

Завхоз с трудом поднял свое грузное тело, и прислонился к первой могильной пирамидке.

– Законом Союза Советских социалистических республик по закону военного времени Рябуха Михай Игнатьевич, как предатель Родины и немецкий шпион приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу. – Сурово чеканя каждое слово, как по писанному, произнес «начальник», и, передохнув, добавил:

– Приговор привести в исполнение немедленно!

У Михея Игнатьевича подкосились ноги, и он опять завалился между могилками.

– Куда его, товарищ майор? – с трудом поднимая, спросили два солдата.

– Ну, не здесь же. Давай тащи к машине, там разберемся.

И снова люди цепочкой потянулись в обратную дорогу. Солдаты оттащили завхоза к ближайшей хлипкой березке, попытались прислонить его к ней. Но ноги отказывались слушаться Михея Игнатьевича, и он медленно сполз на колени, все также взывая к товарищу майору, что он не виноват. Но завхоза уже никто не слушал.

– Что с ним делать-то? – раздраженно спросил один из солдат, устав поднимать его грузное тело.

– А ничего, как жил на коленях, пусть так и смерть свою принимает – на коленях. Целься, – скомандовал он выстроившимся в шеренгу четверем автоматчикам.

Те вскинули автоматы, и дружно клацнули затворами.

– По предателю Родины – огонь! – скомандовал «начальник», и тут же дружно затрещали автоматы...

Маша схватила Марту, и крепко прижала ее к себе, закрывая девочку от этой страшной картины.

Через пять минут все было кончено.

– Закапывайте! – приказал «начальник» и пояснил:

– Прямо здесь. Не на кладбище же иуду хоронить.

Солдаты принялись копать могилу. Степная земля, была тяжелая, вся стянутая корневищами трав и слежавшаяся, как камень. Солдаты быстро выматывались, часто сменяя пара пару. «Начальник» повернулся в сторону Маши:

– Так, а вы – раздевайте его пока!

– Как? – растерялась Маша.

– До исподнего.

– Я не могу, – попыталась отговориться Маша. Ей страшно было даже подумать, как можно прикоснуться к мертвому телу.

– Отставить разговоры! – зло прикрикнул на нее «начальник». – Исполнять приказание!

И Маша, обливаясь слезами обиды и страха, пошла исполнять приказание. Марта побежала было к ней, чтобы помочь, но Маша отогнала ее от мертвого тела:

– Уйди, не смотри на него.

Труп Михея Игнатьевича лежал ничком, и Маша, как ни старалась, никак не могла перевернуть отяжелевшее тело. На помощь ей пришли солдаты, отдохавшие от копания могилы. Машу, от вида мертвенно белого лица, с оцепеневшим ужасом в широко раскрытых глазах и замершем в последнем крике рта, замутило. Она едва успела отбежать в сторону. Ее рвало так, что, казалось, выворачивало наизнанку не только внутренности, но и всю душу. Обессиленная она села на землю. Подошел «начальник», протянул ей фляжку с водой и, словно извиняясь, сказал:

– Надо торопиться. Боюсь, барахолка разойдется.

И Маша, попив воды и сполоснув лицо, встала и безропотно взялась за дело. Марта, не выдержав, все же подошла ей помогать. Обе они старались не смотреть на завхоза и на пропитанную кровью гимнастерку. Уткнувшись взглядом в землю, Маша дрожащими руками с трудом приподняла ногу завхоза, а Марта стащила сапог. Так вдвоем, тужась и надрываясь, они стащили с Михея Игнатьевича сапоги и штаны. Попытались снять и гимнастерку, но Машу опять замутило, и она без сил упала на землю, и медленно поползла прочь.

Гимнастерку сняли солдаты, уже выкопавшие могилу.

– Складывайте аккуратно, чтобы крови не было видно, – распорядился «начальник».

Пока солдаты закапывали тело завхоза, Маша лежала ничком на земле, приходя в себя от пережитого ужаса. Марта молча присела рядом, боясь потревожить ее покой. В конце концов, она все-таки не выдержала:

– Маш, что с нами будет? Нас арестуют? – шепотом спросила она.

– Не знаю. Слава Богу, хоть живыми оставили, – взяла она девочку за руку, чтобы хоть как-то ободрить ее.

Так, не выпуская ее руки, они и ехали всю обратную дорогу.

Машина остановилась у здания с колоннами и львами по сторонам высокой гранитной лестницы. Маша узнала областной Драмтеатр, куда они до войны не раз ходили на спектакли с однокурсницами. Неподалеку от Скорбященской площади, в одном из переулков каждое воскресенье собиралась большая барахолка. Народ нес на продажу, все что имел – весь свой скорбный скарб, в надежде выручить хоть какие-то деньги на лишний кусок хлеба или обменять хоть на какую-то провизию. Потому и спешил «начальник», боялся, что народ разойдется. Тогда следующей барахолки пришлось бы ждать неделю.

– Ну что, девчата, вот ваше последнее задание: потолкаетесь с этим добром на барахолке. Глядишь, и клонут барыги, кому военная форма так понадобилась.

– А почему мы? – робко возразила Маша.

– Да потому, что моих орлов, – начальник кивнул в сторону солдат, – они враз вычислят. А вы – народ нейтральный, безопасный. Да не тряситесь вы так, мы рядом будем, не дадим вас в обиду.

Он сунул в руки вконец удрученной Маше аккуратно свернутую форму, так что от окровавленной гимнастерки видны были только погоны с одной звездочкой младшего лейтенанта, сверху положил стоптанные сапоги, и все это накрыл фуражкой. Посмотрел, бесцеремонно снял с Маши косынку, сползшую на шею, стряхнул ее, и накрыл ею весь «товар», приоткрыв только небольшую часть, отчего остались видны только носки сапог, да околыш фуражки с красной звездочкой.

– Для маскировки, – пояснил он. – Ну, все девчата, идите. А мы следом за вами. И не бойтесь ничего.

Несмотря на то, что уже время перевалило за полдень, народу на барахолке было еще много. Около огромных кастрюль, обернутых одеялами, сидели бабки торгующие пирожками, топтались уставшие колхозники с курами, гусями и яйцами. Кое-где стояли продавцы ковров, свернутыми в рулоны, сновали торговцы часами, золотом, другим мелким товаром. Здесь продавалось и менялось все: граммофоны с пластинками, книги, одежда, обувь, картины, посуда... Маша с Мартой пристроились в ряду, где продавалась одежда. К ним подошли три раза, полюбопытствовали, чем торгуют, и равнодушно отошли.

Стояли долго. У Маши уже болела спина и онемели руки от однообразной позы, да еще и Марта, которую уже не держали ноги, висла то на одной руке у Маши, то на другой, ища в ней опору. Но они не уходили, помня, что майор строго-настрога наказал им стоять на одном месте, а не мотаться по рынку. У Маши уже кончилось терпение, и она начала потихоньку оглядываться по сторонам, ища «начальника» в надежде, что он даст отбой их мучениям. И в этот самый момент к ним подошли двое мужчин. Один – чернявый, лет сорока, с небольшой бородкой, в летнем парусиновом костюме, в летних штиблетах. Второй – помоложе лет на пять, белобрысый, в картузе, брюках, заправленных в сапоги, в застиранной серой рубаше, улыбочивый и круглолицый. Обыкновенные, ничем не примечательные дядьки.

– Чем торгуете, красавицы? – спросил молодой, приподняв край косынки, прикрывающей «товар».

– О! – удивился старший при виде товара. – Откуда это у вас? – поинтересовался вроде бы равнодушно, просто для поддержания разговора.

– Из госпиталя, – сдерживая волнение, ответила Маша.

– А что же поношенное? Нового-то нет, что ли? – Разглядывая сапоги, спросил чернявый.

– Так с раненого это.

– А! – понимающе протянул молодой, – И сколько просите?

Маша растерялась, не зная истинной цены, сказала первое, что пришло на ум:

– Тридцать.

– Ну, это ты загнула красавица. Червонец, не больше цена твоему товару.

Маша, боясь, что вдруг «покупатели» начнут разглядывать товар, а обещанной помощи не видно, тут же согласно кивнула.

Чернявый протянул ей червонец, Маша, слегка помешкав, взяла его и уже протянула свой «товар», замотав его получше в косынку... И в тот же момент, возникший как из-под земли «начальник» за спиной чернявого, скрутил его протянутую за товаром руку.

Белобрысый тут же зайцем скакнул в сторону, рассыпав мешок с жареными семечками у торговки по-соседству. Но его там словно уже ждали два солдата. Они, скрутив ему руки, и зажав с двух сторон, быстро повели на выход.

Все произошло так быстро и тихо, что барахолка продолжала все так же шуметь и сосредоточенно трудиться в своем ритме, словно ничего не происходило. Только ближайшие соседи Маши недоуменно и испуганно переглядывались.

И все бы прошло замечательно, но тут вдруг «начальник» державший чернявого за вывернутую за спину руку, побелел, глаза его с неестественно светлыми зрачками заволокло белой пеленой, и он медленно осел на землю, невольно отпустив своего пленника. Чернявый не растерялся, тут же откуда-то из-за ремня выхватил пистолет и с криком:

– Ах ты, сука! – навел его на Машу.

Маша вскрикнула, и ничком упала землю, увлекая за собой Марту. От выстрела, как по команде «барахолка» с шумом начала разбегаться. Как не затоптали лежавших на земле Машу и Марту, они так и не поняли. Когда же Маша подняла голову, рядом с ней с пеной у рта бился в конвульсиях «начальник». А чуть поодаль лежал оглушенный прикладом автомата чернявый. Два солдата растерянно топтались рядом, не соображая, что им делать с «начальником».

– Это эпилепсия, – сказала Маша, устало поднимаясь с земли, и отряхивая испачканную юбку. – Надо что-нибудь ему между зубов вставить, чтобы язык не запал. А то задохнется.

– А что?

– У него в планшете карандаш был. Только побыстрее.

Через полчаса бледный, измученный припадком, «начальник» пришел в себя.

– Вам бы в госпиталь, – склонилась над ним Маша.

– Какой госпиталь, – слабым голосом возразил «начальник», – мне бы выспаться. Третьи сутки без сна. Спасибо вам за помощь. Сами доберетесь?

– Доберемся, я местная. Ой, а деньги-то, – вдруг вспомнила Маша.

– Какие деньги? – не понял «начальник».

– Да этот вот заплатил мне, – протянула смятый червонец Маша.

– Оставьте себе. Девчонке пирожков купи. Целый день голодная.

Пока ехали до госпиталя, Марта с удовольствием уплетала горячие пирожки с капустой. Маша после всего пережитого есть не смогла. Потом они клятвенно пообещали друг другу никогда и никому не рассказывать, что произошло с ними в это воскресение. Только Марта спросила:

– А папе можно? Ведь он же все равно никому не расскажет.

– И папе нельзя. Никому.

В госпитале свою долгую отлучку они объяснили тем, что заезжали домой к Маше. Узнать, нет ли писем от родителей или от брата.

– А у нас тут такое без вас было! – рассказала им Зоя Петровна. – Михея Игнатьевича особисты забрали!

– За что? – устало поинтересовалась Маша.

– Да кто ж их знает? Разве они расскажут...

Молчать-то они молчали, да только вытравить из памяти то страшное воскресение в мае 1943 года, так и не смогли. Наверное, поэтому эту страшную и почти неправдоподобную историю спустя семьдесят лет рассказал мне сын Марты Петровны, мой лечащий врач, посвятивший себя медицине так же, как и его мать – врач высшей категории с многолетним стажем.

ПЛАТОЧЕК

Петрушу забирали на Покрова. Ночами прихватывали слабые морозцы, а днем все раскисало. Только кое-где на полях редкими проплешинами уже белел снег. С Петрушей на фронт уходили еще пятеро ребят из деревни. Председатель – Иван Никифорович пожалел ребят, и чтобы не месили семь километров грязи до райцентра, выделил им колхозную полуторку. Провожать ребят к сельсовету собралось все село. Пока председатель говорил напутственную речь, Мария еще как-то держалась. Правда слезы сами собой текли и текли из ее уже ничего не видевших глаз. А уж когда Иван Никифорович скомандовал:

– Ну, что ж, ребята, грузитесь! Ждем вас со скорой победой!

Тут уж Мария не выдержала. Раненым зверем завывала, заголосила, намертво вцепившись в Петрушу. Сын неловко прижимал ее к груди, гладил по голове, как ребенка, пытался успокоить:

– Ну, чего ты, мама, все обойдется...

От его жалости Мария еще пуще заходила в крике...

С самого начала войны она со страхом ждала этого дня. Петруше осенью исполнилось 18 лет. Но летом в ней еще теплилась слабая надежда, что все обойдется, война вот-вот закончится, и ее Петруше не придется воевать. Довоенное радио обнадеживало: там каждый день рассказывали, какая у нас могучая и непобедимая армия, и песни такие хорошие пели. Да и Сталин-батюшка, хоть и грозен, но страну на поругание буржуйам не отдаст. Но война, проклятухая, все никак не заканчивалась, песни по радио сменились горькими сводками Совинформбюро, которые слушали, затаив дыхание, и не понимая, куда же девалась наша мощь. Так что к осени ничего не обошлось...

Петруше было стыдно перед ребятами, а еще стыднее – перед девчонками. Провожать пришли обе его зазнобы: Клавочка и Зойка. Петруша был видным парнем на деревне. Везде первый: и работать, и петь, и плясать. Ни одна девка тайно сохла по его соломенному кучерявому чубу да голубым глазам с лукавинкой. А он выбрал себе сразу двоих. Они нравились ему обе, и он все никак не мог определиться, какая же из них больше. Один день казалось, что Зойка – дробненькая, огневая, веселая, без которой в клубе и танцы – не танцы. Другой день – Клавочка: скромница, стеснительная и молчаливая. Но уж до чего ласковая и рассудительная! Не девка – лебедушка. С таких, наверное, и сказки придумывали. И вот теперь вместо того, чтобы попрощаться с девчатами, он должен успокаивать мать. Петруша даже разозлился на нее «Ну, как маленькая».

– Теть Дунь, ну скажи ты ей, – увидел он материну сестру.

– Правда, Маш, ну что ты ему душу-то рвешь? Нешто можно так по живому человеку убиваться? Перестань, не то еще беду какую накличешь.

– Ох, да что ж ее кликать-то? – совсем по-старушечьи запричитала Мария. – Вот она, тутотки! Василий, как летом ушел, так и сгинул. А Ниночка, доченька моя, где она мается с двумя малыши детками? Теперь и последнюю мою кровиночку забирают... – уже навзрыд выла Мария, обхватив сына мертвым кольцом уставших, натруженных рук.

– А ну-ка! – разозлилась на сестру Дуня, силой разжимая ей руки, – отпусти парня! Дай ему по-человечески с людьми проститься... Эх, вцепилась-то, что клещ! Нечего выть да причитать. Ни одна ты такая теперича. Ну, как все начнем слезы лить, так и страну всю утопим. Одного твоего Петрушу забирают, что ли? Ты глянь-ка, сколь домов осиротелых без мужиков стоит! Если каждая баба мужика к юбке привяжет, кто тогда немца воевать-то будет? Не сходи с ума, сестрица...

Даже отец, все это время стоявший в сторонке, не выдержал, подошел, сурово похлопал Марию по плечу:

– Ну, будя, будя убиваться. Проводи сына достойно, не рви ему сердце.

Отец уже много лет не разговаривал с Марией – обижался. С того самого дня, как они с Василием вступили в комсомол. Был он истинно верующим, новую власть никак не хотел принимать.

– Ишь, чего выдумали, в косомольцы подались! Косомольцы эти нас всех до нитки обо-
брали, и вы туда же! Ну-ну, на кого ж теперя молиться станете? На идола ихнего – Ленина?

Дуня с трудом оттащила Марию от сына, прижала к себе:

– Ничего, ничего, сестренка, не такое перемогали. Будет и на нашей улице праздник. А Нина, ну что ж Нина? Ведь не звери же они. Нешто у них рука на младенцев поднимется? Поди, у каждого тоже свои детки есть.

Старшая дочь Марии была замужем за офицером-пограничником и уже четыре года жила вместе с мужем в гарнизоне где-то под Брестом. В феврале у нее родилась вторая дочка. Этим летом они как раз собирались приехать в отпуск, да не успели, война помешала. И что с ними стало, никто не знал.

Высвобожденный Петруша зайцем скакнул к девочкам, около которых вьюном вился его закадычный дружок Гришка. Того оставили до лета – возрастом еще не вышел.

– Ну, что, девчонки, писать-то будете?

– Будем, – хором выдохнули обе, и недобро покосились друг на друга.

– Вы смотрите тут, замуж без меня не повыскакивайте, дождитесь солдата. Целоваться-то будем?

– Да ну тебя, – радостно засмутились обе.

Уже нетерпеливо сигналил водитель, собирая новобранцев. Петруша, улучив момент, сграбастал обеих девчонок и расцеловал их в щеки. Те и ахнуть не успели, только зарделись, как маков цвет.

– Ох, осрамил на всю деревню! – притворно рассердилась Зойка, а Клабочка торопливо сунула что-то в карман его ватника.

Подбежал к деду, обнялись с ним степенно, по-мужски:

– Ну, внучок, не посрами нашего рода. Защищай землю-матушку, да себя побереги. Без надобности в самое пекло не суйся, воюй с головой.

– Есть воевать с головой! – шутливо откозырял ему Петруша. – Ты дед, тово, на маму уж не серчай. Помогай ей, если что. Одна ведь остается.

– Подмогну, конечно. Родные все же.

Водитель грузовика, стоя на подножке, уже нетерпеливо что-то кричал и махал рукой.

Петруша кинулся к Марии с теткой Дуней.

– Ну, племяш, бей там крепче фашистов проклятых, – потрепала его за пшеничный чуб тетка. – Эх, обстригут красоту этакую!

Петруша поцеловал тетку, обнял мать:

– Ну, все, все, мама. Держись тут. Скоро все вернемся.

Мария приникла к нему всем телом, с каждой секундой тяжелея и обвисая на его руках.

– Теть Дунь, держи ее!

И махом вскочил в кузов. Мария бежала за машиной, когда уже все односельчане, остановились. И все что-то кричала, кричала. Петруша не мог разобрать, доносились только обрывки слов:

– Отца... стренешь... писал...

Потом ноги у нее словно подломились, и она упала сначала на колени, постояла так, а потом ничком рухнула на мерзлую холодную землю.

– Мама!!! Не надо!!! – истошно закричал Петруша, пытаясь криком поднять ее.

Он не на шутку перепугался. Почудилось, что сейчас земля проглотит, вберет в себя это слабое, безжизненное тело. И только когда к Марии подбежала Дуня, и стала поднимать ее,

Петруша немного успокоился. Но еще ни одну ночь перед глазами будет всплывать страшная картина: его всегда такая сильная и веселая мама бездыханно распласталась на земле. Так бывает после леса. Целый день наползаешься, отыскивая в траве ягоды, а ночью только сомкнешь веки, а они вот – стоят перед глазами: красные, спелые, одна крупнее другой...

А потом стали всплывать уже другие картинки: карабины, патроны, устав, рытье окопов, стрельба, марш-броски... Все, чем с утра до ночи наспех заполняли их стриженные головы, не оставляя ни одной свободной минутки на посторонние мысли. А подумать Петруше ох, как хотелось! Обстоятельно, дотошно вспоминая мельчайшие подробности деревенских посиделок и будней, чтобы понять, наконец, кто же из двух девчонок успел сунуть ему в карман девичий, нежный платочек? Сейчас этот маленький клочок материи, старательно обвязанный кружевами, с вышитым в уголке аккуратным сердечком, был для него все равно, что признанием в любви, доказательством нежности. «На той и женюсь, – решил для себя Петруша. – Вот только как вызнать, кто из них? Ведь ни за что не сознаются». Время на это оставалось только после отбоя, и стоило ему начать думать об этом, как глаза сами собой смыкались, и вместо девчонок и платочка, задавшего ему неразрешимую загадку, перед глазами плыли осточертевшие за день саперные лопатки, котелки, сапоги с портянками...

Через два месяца, наскоро обученных азам военной премудрости, их повезли в Куйбышев для формирования полка. Петруша, за свою короткую жизнь нигде не бывавший дальше Сызрани, где учился на курсах трактористов, был ошеломлен большим городом, огромным скоплением народа. «Как же так, – невольно думал он, – Столько народищу, а какого-то немца задавить не можем? Ничего, доберемся до фронта, уж тогда точно башку ему свернем». Ребят, вместе с которыми его отправляли в армию, Петруша растерял. На пересыльном пункте при райвоенкомате их сразу разделили по родам войск. Петруша, как тракторист, сразу попал в танкисты. Его с другими ребятами отправили под Куйбышев.

Через два месяца обучения, уже в самом Куйбышеве формировали полк. Танкистов распределяли сразу по экипажам. Командиром Петруше достался молодой лейтенант, только этим летом окончивший училище. Был он года на три-четыре постарше Петруши. Двое других: стрелок и радист уже успели повоевать. Оба после ранения, они и держались особняком, свысока поглядывая на необстрелянную молодежь. Так что волей-неволей молодой лейтенант и Петруша тоже объединились. А уж когда лейтенант узнал, что у Петруши свояк – пограничник затерялся где-то под Брестом, вообще проникся к нему большим уважением.

Мария с утра не находила себе места от тревоги. Всею виной был котенок. Старая кошка вскоре после проводов Петруши окотилась. Принесла всего одного котенка. Прежде Мария, хоть и с сожалением, но топила котят, а тут не поднялась рука. Суеверно побоялась лишиться жизни беззащитное существо в страшную годину, когда и Нина с семьей неизвестно где, и от Василия ни строчки, а тут еще и Петрушу забрали. Она оберегала этого котенка, как оберегала бы жизнь детей и мужа. Котенок рос игривым, целыми днями носился по дому, стогная половики в кучу. А Мария не могла нарадоваться на него. «Вот так и мы жили до войны – весело, беззаботно», – думала она, глядя на него.

А сегодня с утра, когда вылезала из погреба, не углядела и придавила его тяжелой крышкой. Эта неожиданная смерть навалилась на нее тяжелым неизбывным страхом. Целый день она ждала беды, как кары за эту нечаянную смерть, и ничто не могло отвлечь от этого ожидания. С тех пор, как Мария осталась одна, она стала искренне верить всем приметам и снам. Василий, один из первых комсомольцев на деревне, не разрешал ей вешать иконы в избе. Теперь она даже припрятанную икону, которой ее благословляла когда-то мать, повесила в красном углу. Правда, там уже висела выцветшая картинка с портретом Ленина. Так и висели они теперь на божнице рядышком: вождь пролетариата, а под ним Казанская Божья мать. И было непонятно, кого больше по вечерам просила Мария защитить и охранить ее детей,

внучек и мужа. День, по-зимнему короткий, уже клонился к закату, когда в окошко кто-то негромко стукнул.

Мария открыла дверь, запертую на ночь, и ахнула. В клубах пара, вырвавшегося из сеней, стоял Петруша!

– Ох, матушки мои! – заплакала Мария, прикинув к нему всем телом, – Сыночек!

От Петруши крепко пахло потом, табаком и чем-то еще новым, из какой-то незнакомой, чужой жизни.

– Ну, мам, ты даешь! Провожаешь – голосишь, встречаешь – туда же. Дай хоть в дом-то пройти.

– Проходи, проходи, родимый. Это я от радости, – засмузилась Мария, смахивая слезы. – Раздевайся, раздевайся. Исхудал-то как, сердце мое. Сейчас кормить буду. Печь-то еще не остыла, все теплое.

– Это потому что обритый...

Мария бестолково суетилась, то хватаясь за шинель, то лезла в печь за чугуном с картошкой, то начинала искать шерстяные носки, пока Петруша разматывал портянки.

– На-ка вот, одень носочки. Новые, для тебя вязала. Думала посылочку собрать, да не знаю уж куда и посылать ее. Ты ж писал, что скоро на фронт вас пошлют. Сейчас, сынок, я только в подпол за капусткой слажу, и за стол сядем.

– А где ж твой хваленый котенок? Что-то не видно его, – оглядывая избу, спросил Петруша.

– Ох, и не спрашивай. Как раз сегодня утром угробила я его – крышкой с подпола прихлопнула.

И сердце у Марии опять защемило от непонятного страха. «Господи, чего это я?», – подумала она, отгоняя дурные предчувствия. – «Ведь все хорошо. Радость-то у меня какая – сын на побывку пришел».

На столе уже стоял чугунок с еще горячей, из печи картошкой, лежал нарезанный ломтями хлеб, сало. Даже красовалась поллитровка с сургучной головкой, видать, еще из довоенных загашников.

– Ну вот, чем богаты, тем и рады, – наливая щи, приговаривала Мария.

– Мам, ты что, никак и стопочку мне нальешь? – удивился Петруша, прекрасно помня, как Мария воинственно относилась к употреблению этого зелья.

– Ну, ведь ты теперь у меня настоящий мужик!

И только выпив, она вдруг озаботилась:

– Подожди-ка, а как же тебя домой-то отпустили? Не сбежал ли ты часом?

– Да ты что, мам! Нас на фронт отправляют. А сегодня наш эшелон с утра в Ключиках застрял. – Не переставая жевать, обстоятельно объяснял Петруша, – ну, я и попросил нашего лейтенанта: отпустите, мол, до дому. Мне тут всего ничего – три километра! Он сходил куда-то, узнал, что эшелон до завтрашнего вечера простоит, вот и отпустил. Он у нас, хоть и молодой, но душевный очень. Повезло мне с командиром. Только, говорит, чтобы утром, как штык, на месте был. Так что мама, у меня еще вечер и ночь есть.

– Ну, так давай я тебе постираю. – Засуетилась опять Мария.

– А если не высохнет? В мокром, что ли по морозу побегу?

– Так я на печке все и высушу до утра.

– Можно, – согласился Петруша, стягивая с себя гимнастерку. – Мам, ты там только солдатскую книжку из кармана вынь.

– Выну, выну, сынок. Ты ешь, ешь, давай, вон как изголодался. Кормят, что ли, плохо?

– Не, кормят хорошо. Просто по домашнему соскучился.

– Эх, кабы знать, так я сегодня и пироги бы затеяла. На вот тебе одежду. Тут все чистое, глаженное, тебя дожидается.

Пока Петруша, переодевшись, с аппетитом уминал немудреный ужин, Мария налаживала стирку.

– Ох, сынок, да ты никак курить начал! – ахнула она, вытаскивая из кармана гимнастерки пачку папирос.

– Мам, ну чего ты? Что я, маленький что ли? – засмутился Петруша.

– Ладно, ладно, сынок. Это я так, по привычке. Вы для меня всегда маленькими будете. А это что? – Мария держала в руках маленький девичий платочек, обвязанный кружевами. – Никак от Клавдии Зацепиной платочек? – заулыбалась она.

– А ты откуда знаешь, что от Клавдии? – опешил Петруша от такого простого разрешения загадки.

– Чего ж тут знать-то? Первая рукодельница на селе. Только она и может вот так-то, стежок к стежку, – разглядывала Мария вышитое сердечко. – И где только выучилась? Ручки-то золотые, искусница, – любовалась Мария платочком. – Это когда ж она тебя одарила? Надо же, я помню, мы по молодости тоже приглянувшемуся парню платочки дарили. Девчатам в любви-то совестно признаваться, а платочек подаришь, вроде, как знак подашь, и все понятно становится.

– Мам, ну что ты выдумываешь? Ерунда какая-то: платочки, любовь... – совсем смутился Петруша.

– Ничего не ерунда, – заспорила Мария. – Не знаю уж, где как, но у нас на селе всегда так принято было. Да, – заулыбалась она чему-то, – я, между прочим, твоему отцу – Василию, тоже платочек в свое время дарила. Ой, сынок, спросить забыла. Про отца ничего не слыхал? Так ведь и нет от него ни одного письма.

– Нет, мам, ничего не слыхал. Где ж услышишь? Там народищу, в этой армии! Со всей страны понагнали. Со мной в экипаже мужики, из фронтовых попались. Так говорят, что, скорее всего, он в окружение попал. Мол, под Москвой такая мясорубка! И нас туда гонят. Может, там встречу. А от Нины тоже ничего нет?

– Нет, сынок, ничего. Только от тебя письма и приходят. Хоть ты-то не теряйся, пиши, не забывай. – Горько вздохнула Мария.

– Каждый день не обещаю, но писать буду. Мам, я добегу до Гришки. Как он тут, в армию еще не забрали?

– Нет, еще тутотки. Ну, беги, беги. Я пока простирну, да печку растоплю. С баней-то мы сегодня уж не управимся, хоть дома перед дорогой обмоешься. Да к деду забеги, поздоровкайся.

– Угу, – натягивая полушубок, пообещал Петруша и выскочил из избы.

Забегал на полчаса к деду, посидел, как на иголках, рассказывая про свою новую, военную жизнь, про порядки в армии, и бегом помчался к Клавочкиному дому. К Гришке даже заходить не стал. «А ну, его, – только мешаться будет».

Домой Петруша вернулся под утро. Мария уже все сроки прождала, и дела все переделала. Гимнастерка, и галифе успели высохнуть, и уже лежали наглаженные. Уже и пирог с капустой и грибами, как любил Петруша, румянился в печке, а его все нет и нет. «Дело молодое, тут уж не до мамки», – успокаивала свою обиду Мария. Только в четыре часа Мария услышала, как тихо-тихо стукнула дверь в сених.

– Ну, что ты крадешься-то, как тать?

– Мам, а ты чего не спишь?

– Да нешто мне сон на ум придет? Тебя вот дожидаюсь. Уж и в дорогу тебе все собрала. Где загулял-то?

– Да, так... – замялся Петруша. Потом махнул рукой и решительно сказал:

– Ты, мам, вот что: если в деревне про Клаву что болтать станут, ты не верь никому. Все это пустое. Не обижай ее мам, ладно?

– Ой, мамоньки! Да ты никак порушил девку?

Петруша не стал отпираться, только кивнул головой.

– Ах, ты же ирод! Ты что же сотворил такое? Девку опозорил на всю деревню! Да был бы дома отец, он бы тебе показал.

– Никого я не опозорил. Мы с ней договорились. Она ждать меня будет. А как вернусь, сразу и распишемся. Мы бы и сегодня расписались, да Иван Никифорович еще вчера в район уехал. Ты уж не обижай ее, мам, ладно?

– Ох, да что я против, что ли? Просто хотелось, чтобы все, как у людей было. Пришел бы с войны – свадьбу бы сыграли.

– Ну, что ж теперь, не получилось...

– Ну ладно, ты давай-ка обмойся быстренько, да вот пирожка с молочком поешь.

– А молоко, откуда? – удивился Петруша. – Ты же писала, что продала Майку.

– Продала, куда ж мне одной с ней управиться. Одного сена сколько надо наготовить. Да вот козу вместо Майки купила.

– Ну, мам, мне уже пора, – взглянув на ходики, вздохнул Петруша.

– А может, еще хоть часок побудешь? Эшелон-то только вечером пойдет, говоришь. Успеешь еще к нему.

– Нет, мне к утренней побудке обязательно надо явиться. Меня же товарищ лейтенант просто так, по-дружески, отпустил. Увольнительные в дороге не положены.

Мария проводила Петрушу до околицы. Она уже не плакала, сдерживала себя, как могла, чтобы не расстраивать сына. На прощанье сказала:

– А за Клаву не переживай, сынок. Я ее сегодня же к себе заберу. Вместе ждать тебя будем.

Мария еще долго смотрела в след сыну. А он уходил, не оборачиваясь. Солдат! Такой неузнаваемо повзрослевший за два месяца, но все такой же родной и ненаглядный...

Петруша не спешил. Идти было недалеко, дорога знакомая, время в запасе есть. Шел и думал, как за одну ночь все удачно сложилось. И маму повидал, и с Клабочкой... При воспоминании о ней у Петруши сладко заняло сердце и даже мурашки побежали по коже. «Эх, какой же я дурень был! Еще что-то думал, выбирал. А она со школы по мне сохла, мучилась. А мама – какая все-таки молодчина! Ну, теперь можно спокойно воевать»...

Когда он пришел на станцию, эшелона на привычном месте не оказалось. Сначала Петруша подумал, что его перекинули на запасной путь. Станция была узловая, путей много. Он пролазил их все, но так и не нашел его. Петруша в тревоге побежал на вокзал. Оказалось, что ночью выдалось окно, и эшелон экстренно отправили дальше...

Там же, прямо на вокзале, Петрушу арестовали...

Мария в этот же день, как и обещала Петруше, пошла к Клабочкиной матери. Обе они, солдатки, не стали ни ругаться, ни кричать. Посокрушались, что так нелепо все вышло, поплакали, и Клабочка в этот же день перебралась жить к Марии. Мария определила ей свою «семейную» кровать, а сама перебралась на печку. И стали они вдвоем ждать весточки от Петруши. И хоть от него не было писем, но ожидание вдвоем было не таким безысходным.

– Наверное, эшелон долго идет, стоит на каждой станции, как в Ключиках, – утешали они друг друга каждый день.

– Да пока обустроятся на месте. На это ведь тоже время надо...

Письмо пришло, только когда у Клавдии родился сын Петенька. И не треугольник, как всем, а в конверте, на бумаге с печатью, где сообщалось, что Военным трибуналом Сафонов Петр Васильевич по законам военного времени приговорен к расстрелу, как дезертир, оставивший расположение воинской части во время ее дислокации.

ЧАСЫ

Без мамы дом в одночасье одряхлел. По ночам он стучал обвисшими ставнями, кричал половицами. Старый дом было жалко. Так же, как и маму. Она прожила трудную жизнь. Менялись власти, режимы, правительства, а она все билась за выживание, черпая неистощимые силы от матушки-земли, от которой до последнего своего дня не захотела отрываться...

После похорон мы с сестрой остались, чтобы отметить 40 дней в доме, а после – заколотить его и уехать...

Вечерами, мы упаковывали все, что связано с памятью о маме. На божнице, за иконой нашли самодельную шкатулку. В ней, почерневшей от времени лежали все мамины «драгоценности». Между зеленых стеклянных бус, позолоченных сережек и медных колечек, вдруг солидно блеснули старинные часы-корвет царского золота на крупной цепочке. Крышка их была украшена двумя буквами А и М, от которых весело разбежались веточки с листочками. Интересно, кому они принадлежали? Теперь уже и не узнать...

– Смотри-ка, целые! – поразилась Валя, заводя и слушая их. – И даже ходят! А ты помнишь про них?

Из мозаики детских воспоминаний, из рассказов мамы и бабушки я знала их историю. Эти часы очень давно, когда наш папа еще был маленьким мальчиком, в Гражданскую войну, какой-то белый офицер выменял их у деда Ефима на лошадь. Красные – те больше оставляли записки, что «экспроприировали именем революции». А этому, видать, совесть не позволила отобрать последнюю лошадь. С тех самых пор часы и хранились в доме «на черный день». Удивительно, неужели за столько лет этот «черный день» так ни разу и не наступил? Мы с Валею были уверены, что часов давно нет. Но, оказывается, мама так и не смогла расстаться с ними...

Когда началась война, мне не было пяти лет. Помню, что я обижалась на папу, потому что мама все время плакала из-за того, что он уходит защищать Родину. Мне было жалко маму. Эту Родину кто-то обидел, и папа бросает нас, чтобы заступиться за нее. А как же мы? Как он мог променять нашу маму на какую-то чужую тетеньку с таким непонятным именем? Так только мужиков называют. Как дядю Родиона. И я утешала маму, как могла:

– Мамочка, не плачь. Я этой Родине, как дам! – и сжимала кулачок, чтобы показать, как я стану защищать ее от этой самой Родины.

– Дурашка ты моя! Родина – это наша страна, земля, дом. Все близкое и родное. Потому и называется Родина, – сквозь слезы улыбалась мама моей глупости.

А через месяц забрали и деда. И мы остались в доме с мамой, бабушкой, Маней – папиной младшей сестрой и стареньким дедом Ефимом.

Где-то рядом с нашей дерегушкой уже громом раскатывались бои, сверкая по ночам зарницами. Говорили, что наши отступают, и что со дня на день придут немцы.

В один из таких дней Маня с соседским Петькой собрались в лес за грибами. Увязались и мы с Валею за ними. Мане с Петькой было тогда лет по семнадцати, и мы часто донимали их дразнилками: «Тили-тили тесто», поэтому они не хотели брать нас собой, но потом все же смилостивились.

– Какие грибы?! Нашли время, еще и ребятишек за собой тащите, – ругалась бабушка.

– Да что с нами будет? – упрямылась Маня. – Мы по краю только побродим, и сразу назад. Жарехи с картошкой хочется...

Когда мы вышли из леса, на дороге, ведущей в деревню, стояла нескончаемая вереница машин, мотоциклов. Около них толпились солдаты...

– Немцы! – ахнула Маня.

Возвращаться в лес было поздно: они нас заметили, и один что-то уже кричал нам, жестом подзывая к себе. Петька, наверное, чтобы не ударить лицом в грязь перед Маней, показал ему

в ответ неприличный жест. И в тот же момент, что-то затрещало, словно горох посыпался в пустую железную бочку, а Петька почему-то улегся на землю, и совсем не двигался. Я своим умишком даже не поняла ужаса происшедшего. Только увидела, как Валя, которая старше меня на три года, вдруг написала в штанишки. И только я хотела ей сказать, что так делать нельзя, как Маня, бросив корзинку с грибами, схватила меня, и, рванув за ручонку Валу, бросилась обратно в лес. А за нашими спинами опять застучал горох об пустую железную бочку...

Сейчас я с ужасом думаю, что мы просто чудом уцелели тогда. Только когда уже стемнело, и я вся изнылась, что хочу кушать и к маме, мы крадучись вышли из леса. Дорога была пустынная, словно на ней никого и не было днем. Один только Петька все также лежал на том самом месте. Не было немцев и в деревне. Это, как рассказывала потом мама, были первые отборные эсесовские войска, и они шли, не останавливаясь через нашу деревеньку целый день. А потом еще и еще. Спешили, рвались к Москве...

Когда эти страшные черные войска прошли, на смену им пришли другие. В нашей небольшой деревушке остановился румынский полк. Они даже пытались подружиться с нашими бабами и стариками. Но их боялись не меньше, чем немцев. А бабушка переживала, как бы они не определились к нам на постой. Она замотала Мане голову какими-то тряпками и сказала, чтобы та сидела на печи и не высывала носа. Бабушка не зря опасалась. К нам несколько раз приходили офицеры. Они вели себя по-хозяйски, говорили о чем-то по-своему, оглядывая избу. Бабушка, ходила за ними и, указывая на печку, где сидела Маня, твердила:

– Тиф, тиф, тиф!

И они, услышав ее, поспешно уходили.

Маня просидела на печи до самой весны 42 года, пока румыны, наконец, не ушли из деревни. А потом все повторилось: опять шли немецкие войска. Только уже в обратном направлении. И, наконец, пришли наши. Все смеялись и плакали, а я озабоченно бегала между солдатами, искала папу и капризничала:

– Где папа? Где папа?

Потому что весь мир для меня еще вмещался в нашей деревеньке, а армия – в батальоне, который остановился в ней. И мама долго объясняла мне, какая огромная у нас страна и как много людей живет в ней...

Нам повезло. После страшной зимы в оккупации у нас чудом уцелела наша кормилица: корова Зоренька. Как же мы ее любили! Помню, каждый старался оставить кусочек хлеба от скудного обеда, чтобы порадовать ее. А она брала его с рук огромными теплыми губами и тяжело вздыхала, словно ей было стыдно, что отнимает последний кусок. Из-за Зорьки бабушка даже поругалась с безруким дядей Родионом. Он как-то зашел к нам под вечер:

– Крестная, я к тебе с просьбой...

– Да уж слышала, бабы болтали.

– Сама понимаешь: сеяться пора... – виновато развел он руками.

– Семян на посев дам, а Зорьку – хоть убивай, не пушу на пахоту! Не знаю, как она и выжила эту зиму – одни кости остались.

– Не дашь, значит?

– Не дам. Сама вместо нее впрягусь, а ее не дам на погибель. У меня девки малые, без Зорьки нам не выжить!

– Да я тебя по законам военного времени под суд отдам! – кричал дядя Родион на бабушку.

– Отдавай, крестничек, коли креста на тебе нет! А Зорьку все одно не дам! Вот тебе мое последнее слово.

Дядя Родион ушел, а бабушка, мама и дедушка Ефим о чем-то долго и тихо-тихо разговаривали. А утром, когда мы проснулись, Зорьки и деда Ефима не было. Где они сумели ее спрятать, мы так и не узнали. Только мама по ночам уходила куда-то, а утром бабушка нали-

вала всем по стакану молока. Наша Зорька вместе с дедом Ефимом объявились только летом. Тогда же, летом, от нас ушла Маня.

Уходила на запад воинская часть, стоявшая у нас в деревне, и все пошли за околицу провожать их. И наша Маня вместе с мальчишками долго шла за ними. Так долго, что уже и мальчишки, бежавшие за строем солдат, вернулись, а она – все шла и шла. Бабушка испуганно кричала ей вслед:

– Маня! Ты куда? Вернись!

Но Маня обернулась и махнула рукой:

– Я до Поповки!

Поповка – это соседнее село, там жили наши родственники. Вечером Маня не вернулась. И в Поповке, куда бабушка сбегала на следующий день, ее тоже не было. Бабушка теперь все время плакала и ругала Маню, пока от нее не пришел бумажный треугольник, какие приходили от папы и дедушки. Маня писала, чтобы бабушка ее простила, потому что она обязательно должна отомстить этим гадам за Петьку. Оказывается, пока у нас стоял батальон, она уговорила какого-то дяденьку, чтобы тот записал ее в армию. Ее взяли санитаркой, и уже очень скоро они пойдут в бой. Это было первое и последнее Манино письмо с фронта...

Жили мы в те годы, как и вся страна: трудно и голодно. Одна только радость и была, что письма с фронта. Их читали помногу раз, словно хотели между строчек прочитать еще что-то, недосказанное. Перечитывали соседям, чтобы вместе порадоваться. Помню, мне очень хотелось сделать из этих треугольников бумажные лодочки. Это ведь так просто: стоит только подогнуть один уголок вовнутрь – и лодочка готова. А потом пустить эти письма-лодочки по речке, чтобы много-много людей тоже прочитали их и порадовались за нас. Уж так мне хотелось похвастаться, что мои папа и дедушка живые! Но мама, поймав меня с такой лодочкой, строго-настрого запретила это делать. Уж как она берегла эти треугольники! Они и сейчас сиротливой аккуратной стопочкой лежат на божнице за иконой...

А потом, когда уже немцев гнали, и взрослые после каждого сообщения Совинформбюро облегченно вздыхали: «Ну, теперь уж, видать, недолго осталось», от папы перестали приходиться письма. Мама каждый день бегала на почту, не дожидаясь почтальона, но писем все не было. Мама не находила себе места.

– Девять месяцев ни словечка! Как в воду канул... – Жаловалась она.

– Значит, живой. Если бы что случилось, нас давно бы уж известили. – Успокаивала бабушка маму. – Ты бы, Екатерина, в церковь сходилась, помолилась за Пашу.

– Да что Вы, мама? Какая церковь? Я ведь комсомолка. Да и Паша не одобрил бы. Он ведь писал, что в партию вступил, – отговаривалась мама.

– Сейчас мы все едино под Богом ходим: и партийные и беспартийные. А Паше про то и знать не обязательно. Спина-то, думаю, не отвалится за мужа попросить. И девчонок бы с собой взяла. Детские молитвы они до Бога быстрее доходят.

И мама решилась. Собрала меня с Валею, и ранним воскресным утром, почти затемно, мы отправились пешком в районный центр. Я первый раз была в церкви, и очень испугалась, увидев строгие, сумрачные лики святых, освещенные слабым светом лампадок. В церкви кроме нас никого не было. Мама показала нам с Валею, как надо креститься, зажгла свечку перед иконой, опустилась на колени и сказала нам:

– Повторяйте за мной...

Я ничего не понимала из того, что говорит мама, и бессвязно бормотала:

– Богородица... Мария... с бою... родила... душ наших...

Зато крестилась и кланялась до пола так старательно, что даже шишку набила на лбу. Когда мы уже собирались уходить, к нам подошел дедушка, одетый в черную одежду. У него была длинная борода. Сначала я его здорово испугалась. Подумала, что это сам Боженька пришел наказывать меня за что-то, и даже хотела заплакать. Бабушка мне всегда говорила, когда

я не слушалась, что Боженька накажет. Но он посмотрел на меня добрыми-добрыми глазами и погладил по голове. И я передумала плакать. Он спросил маму:

– Что за беда привела тебя в храм, дочь моя?

Я очень удивилась. Разве это наш дедушка? Нет, конечно. Мамин папа тоже на фронте.

Тогда почему он маму дочкой зовет?

– Скоро уж год, как от мужа никаких вестей, – пожаловалась мама.

– На все милость Божья. Уповай на лучшее. Как мужа величают? – спросил дедушка.

– Павел.

– Я помолюсь за раба божьего Павла. Может, Господь и смилостивится, – и перекрестил всех нас.

Домой мы шли радостные, словно там нас уже ждало письмо от папы. Мама оживленно и со всеми подробностями рассказала бабушке, как мы сходили в церковь, о батюшке, обещавшем молиться за папу.

– Ну, и, слава Богу! – перекрестилась бабушка, радуясь вместе с нами. – Если только Паша отыщется, часы в церковь снесу, не пожалею.

– Золотые?! – ахнула мама.

– За такое не жалко. Бога ведь не только просить, но и благодарить надо...

Через месяц от папы пришло письмо. Он писал, что был ранен и долго валялся по разным госпиталям. Потому и не писал, что адрес постоянно менялся. Писал еще, что ему хотели ампутировать ногу, но все обошлось. Сейчас дела идут на поправку, и скоро он выпишется из госпиталя.

– Вот видишь, ваши молитвы помогли Паше, – радовалась бабушка. – Ты, Екатерина, сходи-ка завтра к батюшке отнеси часы в дар церкви...

– Да ведь жалко... Дорогушие-то! – озабоченно противилась мама.

– Не дороже жизни. А слово держать надо. Особенно перед Богом. Раз решили отдать, значит, надо отдать, а то, как бы хуже не вышло. Пусть пойдут на нужды храма. Им сейчас, как и всем, не сладко приходится. Отнеси Екатерина, не гневи Бога...

Вот тогда я и видела эти часы в последний раз. Много лет и бабушка, пока была жива, и мы с сестрой так и думали, что мама отнесла их в церковь.

Что остановило ее? То ли по извечной крестьянской прижимистости пожалела расстаться с добром? То ли не поверила в могущество Бога? Наверное, подумала, что и без его помощи все само собой разрешилось. Ведь папа был только ранен, и, когда мы молились за него, он уже шел на поправку. Она не стала спорить с бабушкой, а просто спрятала часы, видимо, чтобы после войны, когда вернутся дедушка и папа, рассказать, как сохранила семейную ценность. Нам уже никогда не узнать, что мама думала тогда. И кто знает, отдай она их тогда в церковь, может быть, все было бы иначе.

А месяца через два мы получили уже самое настоящее письмо, в конверте. В нем сообщалось, что Дементьев Павел Васильевич пал смертью храбрых. Но и тогда, открывав весь ужас и боль утраты, мама не отнесла часы в церковь, сочтя, наверное, что уже за все расплатилась, и ничего страшнее в этой жизни быть не может.

В конце зимы необычайно холодного сорок третьего года, когда скудные припасы в доме закончились, а до новых еще было далеко, у нас пала Зоренька. Бабушка плакала по ней горше, чем по Мане и папе и все причитала:

– Кормилица ты моя, на кого ж ты нас оставила?.. Господи! Да есть ли ты на самом деле? За какие грехи ты нас так жестоко караешь?

А мама, стиснув зубы, молча долбила ломом промерзшую до железобетона землю, копая яму для нашей Зореньки.

Вот уж когда мы хлебнули настоящего лиха! По ночам, тайно, в дикие морозы, отмораживая и раздирая руки в кровь, откапывали с колхозного поля из-под снега горошины про-

шлогодней, несобранной картошки. Говорили, что от такой картошки уже вымерла половина Поповки, и ее строго-настрого запрещалось собирать. Но ничего другого, кроме нее, не было, а есть что-то надо было. Из этой картошки и отрубей, оставшихся от Зореньки, бабушка пекла лепешки.

То ли от картошки, то ли от голода, то ли просто от старости, в эту зиму умер наш старенький дедушка Ефим. Плакать по нему ни у мамы, ни у бабушки уже не было сил...

Потом с каждым годом становилось немного легче. А дедушка все воевал и воевал, и казалось, что конца этой войне не будет никогда. И когда мы с Валею уже подросли и стали помощницами маме и бабушке, наконец-то пришла выстраданная Победа. Праздновали ее всей деревней: старики, бабы, дети, изувеченные мужики. Около правления колхоза поставили столы, и каждый нес все, что было в доме. Все обнимались, целовались, плакали и смеялись...

Через месяц пришла похоронка на дедушку. Он погиб как раз в тот самый день, когда мы праздновали Победу. Бабушка, пережила его только на один год...

- Что же с ними делать? – прервала мои воспоминания Валя. – Тань, может, возьмешь их?
- Давай лучше в церковь отнесем. Ведь бабушка говорила...
- Ты что, думаешь, что это из-за них погиб папа? – удивилась сестра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.